

УДК 94(415)05

Н.В. Карначук

ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ В АНГЛИЙСКОЙ ПЛОЩАДНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ XVI–XVII вв.: ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ПЕРЕЖИВАНИЕ И ОЖИДАНИЯ ОБЩЕСТВА

Рассматривается реальное убийство в позднетиюдоровском Плимуте и его интерпретация в площадной литературе того времени. Автор пытается показать на этом примере, как в массовом сознании намечался сдвиг от общинных к индивидуальным устремлениям, и способы их выражения.

Ключевые слова: историческая антропология, история культуры.

В 1591 г. в оживленном торговом городе Плимуте разыгралась криминально-любовная драма. Молодая женщина, Эввалия Глэндфилд, была просватана родителями за богатого вдовца Пейджа, однако и до брака, и после его заключения ее сердце принадлежало другому – некоему Джорджу Стрэнгвиджу. Судя по всему, ее избранник не обладал капиталом, поэтому даже не рассматривался родителями как претендент на руку дочери. Эввалия открыто заявляла о своих предпочтениях и родителям, и престарелому жениху, однако брак был заключен. Вскоре после этого мистрис Пейдж и ее любовник решили избавиться от неудобного мужа, для чего наняли, как сейчас сказали бы, двух «лиц без определенного рода занятий». Ночью 20 февраля мистер Пейдж был задушен в своем доме, но уже на следующий день были арестованы как исполнители, так и заказчики убийства. На суде и Эввалия, и Джордж признали свою вину, и двадцатого числа того же месяца все четверо были повешены в Барнстейпле [1. С. 554–556]. Эхо этого преступления – или, правильнее сказать, этой казни – оказалось очень долгим, оно пережило огромное большинство криминальных сенсаций XVI и XVII вв.

По горячим следам события появляется прозаический памфлет, а маститый автор баллад, поэт Томас Делоне пишет балладу «Жалоба жены мистера Пейджа из Плимута, которая, будучи принуждена выйти за него, согласилась на его убийство ради любви к Д. Стрэнгвиджу, за что оба они пострадали в Барнстейпле, что в Девоншире» [2. С. 191–195]. Этот текст получает широчайшее распространение, его переиздают многократно, причем пик изданий приходится на 1590–1620-е гг. Именно копии этого периода мы находим в нескольких крупнейших сохранившихся коллекциях площадных баллад: и у Пиписа, и в Роксбэрских балладах, и в коллекции Роулинса. Значительно реже баллада переиздается во второй половине XVII в., но не исчезает полностью из виду, нам известны ее издания первой половины XVIII столетия. Для площадной баллады это исключительно долгая жизнь; большинство историй о казнях убийц выдерживали, максимально, три – пять изданий, появлявшихся в течение десятилетия после события. «Старые» судебные драмы не интересовали публику, и только коллекционеры XVII в. сохранили некоторые сообщения о них. Знаменательно, что в последнем четверостишье баллады, традиционно призывавшем божье благословение на милостивую

королеву Англии, в стюартовскую эпоху слово «Queen» изменяется на «King». Точно так же дата казни преступников, обычно упоминаемая в заглавиях баллад криминального жанра, в этом случае отсутствует. История о любви, преступлении и каре теряет привязку к конкретному времени, сиюминутную сенсационность, оставаясь востребованной аудиторией.

Столь долгую память не объяснить литературными достоинствами произведения Делоне, поскольку одновременно с ней появляется и позже воспроизводится еще несколько баллад других авторов, также посвященных этому событию [3. С. 197–201]. Наличие нескольких баллад – еще один признак общественного интереса, поскольку чаще всего издатели просто перепечатывали одну и ту же балладу о преступлении – либо без изменений, либо с оными, но опираясь на один исходный текст. Несколько разных текстов об одном событии – свидетельство, как правило, широкого общественного резонанса (к примеру, мы знаем о существовании нескольких баллад, посвященных мятежу Эссекса и его казни, двух текстов, повествующих о страшном пожаре в городе Корке, трех стихотворений в честь разгрома Армады и т.д.).

Какие же струны общественного сознания задело уголовное дело Эвлялии Пейдж, почему оставило столь глубокий и длительный след в памяти общества? Каким образом повседневная криминальная хроника может быть сопряжена с макроисторическими категориями, с изменениями общества в режиме «долгого времени»?

На первый взгляд, многие мотивы баллад о мистрис Пейдж вполне традиционны для жанра «уголовной баллады». Во второй половине XVI в. уже сложилась традиция оповещать «добрых людей» в прозе или в стихах о преступлениях – точнее, о каре за преступления, потому что практически все подобные произведения несли, начиная с заглавия, информацию о казни виновных или о заключении их в тюрьму, именно наказание, а не преступление рассматривалось как ключевое событие. Уже выработался определенный канон изложения, возникли некоторые смысловые и лексические штампы.

Предметом интереса в криминальной балладе почти всегда является убийство, с редким вкраплением грабежей и поджога. В XVI – первой половине XVII в. наиболее популярны баллады о женах-мужеубийцах (традиция, практически иссякшая в XVIII–XIX вв., – безусловное свидетельство того, что острота «гендерного кризиса» в Англии миновала) [4]. Отметим некоторые черты канонического изложения: во-первых, повествование ведется чаще всего от имени самого преступника. Он обращается к людям, собравшимся на казнь, но шире – ко всем читающим или слушающим балладу, сообщает о своем злодеянии и, непременно, о глубоком раскаянии, просит прощения у людей и у Бога, выражает надежду на Его милосердие, призывает аудиторию извлечь из его злодеяния моральный урок и никогда не следовать дурным путем. Стандартна и отмечаемая авторами баллад реакция аудитории: окружающие эшафот плачут и рыдают, они полны не праздного любопытства, а сочувствия раскаивающемуся преступнику [5. С. 22].

Все подталкивает к выводу, что казнь в площадной балладе XVI–XVII вв. – зрелище, прежде всего, назидательное, именно поэтому не само

преступление, а казнь занимает центральное место. Это подтверждается и сильным моральным посылом речей осужденных: они излагают свою историю в форме публичной исповеди, сокрушаясь о причиненном зле и ожидая отнюдь не помилования от властей, поскольку казнь заслуженна и справедлива, а милости божьей.

Дж. Шарп в своей статье справедливо указывает, что предсмертные речи преступников с эшафота «...могут многое сказать о восприятии власти и авторитета в Англии XVI–XVII вв.» [6. С. 152]. Однако исследователь склонен считать описание раскаяния на эшафоте, а также стремление тиражировать сообщения о таких речах следствием усилий властей, озабоченных слабостью реальных механизмов поддержания правопорядка в обществе.

Хотелось бы заметить, отчасти полемизируя с Дж. Шарпом, что такие памфлеты и такие речи были самым очевидным образом востребованы не только властью, но и обществом. При всем одобрительном отношении властей к поддержанию должного порядка памфлеты о повешенных и баллады на криминальные темы никогда не спонсировались «сверху», оставаясь коммерческим продуктом, окупаемым вследствие того, что на него имелся немалый спрос [7]. Значительное количество историй о казнях, их общая направленность, стереотипный образ кающегося преступника и сочувствующих свидетелей казни ясно показывают стремление аудитории видеть картину преступления и наказания именно в таких тонах. Сам Дж. Шарп приводит, опираясь на реальные судебные казусы, ситуации, когда в тюрьме «обращение» приговоренного оказывалось не делом рук священника, а результатом убеждения со стороны других заключенных, самым очевидным образом не извлекавших из этого никакой выгоды для себя.

Общество XVI в. ждало от преступника раскаяния, зримого знака того, что индивид, нарушивший закон и норму, духовно «возвращался в общину». Преступник на эшафоте предстал не изгоем, не представителем некоей контр-культуры, преступного мира, а оступившимся «добрым человеком», искренне стремящимся восстановить душевный мир на пороге смерти, найти одновременно и милосердие Бога, и прощение людей. Образно говоря, это баллады не о преступлении и наказании, а о проступке и покаянии.

Неслучайным представляется факт, также отмеченный Дж. Шарпом: если в XVI–XVII вв. ключевым моментом «хорошей смерти» на эшафоте было чистосердечное и полное покаяние, то уже к концу XVII в. и далее акцент смещается на «отвагу» осужденного, его браваду перед лицом смерти. Очевидно, что от модели «примирения» с Богом и обществом в момент смерти осужденные переходят к модели утверждения личного мужества и, в некотором роде, противопоставляют себя как палачам и суду, так и обществу в целом.

Но истории о деле Эвлалии Пейдж не ограничиваются воспроизведением классической модели «баллады о преступлении и покаянии». В некотором смысле, они находятся на грани елизаветинской площадной баллады и уличных листов XVII–XVIII вв. Эти последние, повествуя о некоем уголовном происшествии, все больше места стремятся уделить личным переживаниям как жертвы, так и убийцы, описать обстоятельства преступления, иногда даже начинают рассказ с рождения и детских лет преступника [8].

В духе елизаветинских баллад о казнях Эвлалия Пейдж искренне кается, называет дело рук своих «проклятым» и подлежащим «отмщению Господа», но истинный пафос ее речи, прежде всего, заключается в другом, а именно – в выявлении страдательной части своей истории. Преступница убедительно доказывает, что она тоже жертва. Жертва родителей, отца, который, несмотря на слезные мольбы дочери, выдал ее не за любимого, а за противного старика. Ее обращение к аудитории двояко и заключается, с одной стороны, в традиционном призыве к женам «не поступать, как она», но, с другой стороны, это призыв ко всем родителям – иметь больше мудрости и не женить своих детей без их взаимной любви и приязни. Тот же мотив можно проследить практически во всех балладах, посвященных этому уголовному делу. Эвлалия признает себя виновной, но вся ее речь подчеркивает: порядок и норму нарушило не убийство, оно было лишь следствием, а «неравный брак», союз, который в одной из баллад называется «unmatched». Джорджу и Эвлалии, даже находящимся на пороге смерти, авторы баллад вкладывают в уста признания в нерушимой взаимной любви. Эта любовь не оправдывает злодеяния, но явно рассчитана на сострадание читателя преступникам.

Таким образом, в деле Пейдж перед нами раскрывается история, еще выдержанная в духе традиционной охранительной баллады, где преступник стремится восстановить, пусть перед смертью, свои связи с Богом и обществом. Но, с другой стороны, в ней значительно большее место занимают индивидуальные переживания романтического толка. Это баллады, где индивидуальные чувства преступника (не его раскаянье, не его смертное страдание в момент казни, а его переживания в течение жизни) становятся предметом сочувственного интереса аудитории, знаменуя дальнейшие шаги английского массового сознания по пути индивидуализации сознания.

Литература

1. *The Roxburghe Ballads* / Ed. by W. Chappel. L., 1886. Vol. 1.
2. *The Roxburghe Ballads* / Ed. by Charles Hindley. L., 1873. Vol. 1.
3. *Curiosities of street literature*. L., 1871.
4. *The Shirburn ballads, 1585–1611*. Oxf., 1907.
5. *Sharpe J.A.* «Last dying speeches»: Religion, Ideology and Public Execution in seventeenth-century England // *Past and Present*. 1985. №107. P. 144–167.
6. *Wurzbach N.* The rise of the English street ballad, 1550–1650. Cambr., 1990.
7. *Last dying speech, birth, parentage, and education, of that unfortunate malefactor, John Clarke* [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://jproxy.lib.ecu.edu/login?url=http://gale.net.galegroup.com/servlet/ECCO?c=1&stp=Author&ste=11&af=BN&ae=T226107&tiPG=1&dd=0&dc=flc&docNum=CW105959827&vrsn=1.0&srcht=a&d4=0.33&n=10&SU=0LRL+OR+0LRI&locID=gree96177>